

## СОВЕТСКАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ ДРЕВНОСТИ: НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК 930(47+57)

doi 10.17072/2219-3111-2021-1-94-103

Ссылка для цитирования: Крих С. Б. Древняя история и новая публицистика: о поисках нарратива в Советской историографии сталинского времени // Вестник Пермского университета. История. 2021. № 1(52). С. 94–103.

### ДРЕВНЯЯ ИСТОРИЯ И НОВАЯ ПУБЛИЦИСТИКА: О ПОИСКАХ НАРРАТИВА В СОВЕТСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ СТАЛИНСКОГО ВРЕМЕНИ<sup>1</sup>

**С. Б. Крих**

Омский государственный университет, 644077, Омск, пр. Мира, 55-а

krikh@rambler.ru

ResearcherID: M-5123-2016

Scopus Author: 57194386149

Рассматриваются особенности возникновения и функционирования нового типа исторического нарратива в советской науке, который исчерпал себя к концу 1940-х гг. Он характеризовался использованием выражений и оборотов, которые благодаря своей стилистике и смыслу выводили читателя за пределы научной полемики, к политическим идеологизированным штампам. Этот тип высказывания определен как историко-публицистический, выяснены причины его появления и специфические черты развития, подчеркнута его связь преимущественно с 1930–1940-ми гг. Выбраны для обсуждения советские работы по древней истории, в ходе анализа которых показываются основные установки их авторов (выделены три фракции: «старые» марксисты, перешедшие в марксизм учёные, новое советское поколение историков), а также причины и особенности обращения перечисленных типов историков к жанру историко-публицистического рассказа о прошлом. Эти перемены дают возможность сравнить стилистику тех же самых историков до и после указанного времени. В частности, это сравнение позволяет видеть (при анализе научного творчества А.И. Тюменева или Б.Л. Богаевского), как уважительное и терпимое отношение к зарубежным историкам меняется на отыскание в работах «буржуазных» авторов черт «реакционности», дополненное даваемыми свысока оценками. На примере историков Н.И. Недельского и А.В. Мишулина показано, как тот же путь проходили авторы, не занимавшиеся научной деятельностью до революции. В заключении статьи даются общие характеристики жанра нарратива, а также объясняется, почему он был обречён на пошаговое самоисчерпание.

*Ключевые слова:* советская историография, исторический нарратив, древняя история, историко-публицистический жанр, сталинизм.

#### Советская историческая наука и мы

Исследователь или даже простой читатель, которому довелось знакомиться с советскими научными работами 1930-х или 1940-х гг., с большой долей вероятности натолкнётся в них на такие обороты и ходы мысли, которые могут вызвать у него удивление, оторопь, вообще ощущение неловкости, так как не этого ожидает увидеть современный человек в научном тексте. Если творения позднего советского периода отличаются почти бесцветным языком, должествующим подчеркнуть претензию на объективность, то наука ранняя буквально искрится своей партийностью (естественно, только одной – большевистской), при этом не стесняясь «непарламентских» выражений и оборотов. Она не переступает той грани, за которой простирается уже царство обценной лексики, но используемых ею выражений оказывается достаточно для того, чтобы современный читатель вынес сложное чувство неприятного восторга от чтения трудов уже далёкого времени.

Как объяснить появление такого жанра, и почему он стал лишь временным явлением в советском историописании? Что это позволяет понять нам в характере советской науки и в истории науки вообще? Я постараюсь исследовать проблему в рамках одного сегмента советской исторической науки – истории древности и дать ответы на поставленные вопросы. Разумное ограничение начального материала для анализа дает возможность увидеть, как даже в работах по темам, которые не были прямо связаны с политическим интересом, проявлялись тенденции, изучение которых помогало лучше понять феномен советской науки. Конечно, всё это – «дела давно минувших дней» (и преданий о них тоже достаточно), но историческая наука такова, что не может идти вперед, не осознавая своей собственной истории; а кроме того, чем лучше понимает любой читатель, как и почему история рисуется нам такой или иной, тем ему будет лучше видна как польза истории, так и её драма.

### Старые марксисты и новые обстоятельства

Подобно песенке Гавроша в великом романе Гюго, в которой все беды французов возводятся к Вольтеру и Руссо, наши объяснения всего, что происходило в сталинскую эпоху, сводятся к решениям, деяниям или умонастроениям «вождя». Но если обращаться к области нарратива, то истоки его грубого стиля в 1930-х гг. следует искать как минимум в дореволюционных печатных опытах большевиков, а прежде всего Ленина, известного избыточным сарказмом по отношению к оппонентам – даже если речь шла не о политике, а о философии, а также своими парадоксальными определениями вроде объяснения, почему диктатура может быть демократией<sup>2</sup>. Политическая борьба заостряет речь, поэтому представление о «большевистской прямоте» как важной характеристике победившей партии включало в себя и понимание неизбежной резкости, нелицеприятности высказываний настоящего борца за светлое будущее.

Другое дело, что при переходе от политической публицистики к историческому сочинению эта черта первоначально либо смягчалась, либо исчезала вовсе. На протяжении приблизительно первого десятилетия торжества советской власти научная речь стремится оставаться солидной: приток большевиков в науку был невелик, а в политике молодого государства по отношению к «старым» учёным навязчивое сотрудничество пока ещё преобладало над прямым диктатом. До «академического дела» 1929–1931 гг. новая власть придерживалась линии на существование с постепенно реформируемой Академией наук, а преподавателями в университетах оставались по преимуществу дореволюционные кадры [Дмитриев, 2012, с. 359–610].

Приведу в качестве примера творчество историка А. И. Тюменева (1880–1959). Этот персонаж интересен тем, что был сторонником исторического материализма ещё до революции, так что его взгляды на древнюю историю сложились раньше, чем сформировалась «официальная» советская точка зрения на нее. До революции он написал очерк социально-экономической истории Древней Греции, который, дополнив и исправив, переиздал в середине 1920-х гг. Отчасти наследием времени, когда упоминание материализма могло привлечь внимание царской цензуры, отчасти личным характером, не предполагающим навязываемых клятв в лояльности, объясняется то, что в работе Тюменева не так просто найти не то что ссылки на Маркса или Энгельса, но даже марксистскую терминологию в её чистом виде. Важно даже не это, а то, что книга Тюменева (даже с учётом оговорки автора, согласно которой он писал больше социологический очерк древней экономики, чем проводил самостоятельное исследование) находится в русле проблематики европейской историографии древности того периода.

Развернувшийся в конце XIX в. спор между К. Бюхером и Э. Мейером о сущности древней экономики, который позже был определён (с типичным при навешивании ярлыков упрощением позиций) как спор между «примитивистами» и «модернизаторами», породил целый ряд проблем понимания экономической истории: Был ли в древнем мире менее развитый рынок, чем в период Средневековья? Почему античное ремесленное производство практически не знало цеховой организации? Можно ли считать рабский труд экономическим аналогом наёмного труда пролетариата в Новое время? Как и следовало ожидать, Тюменев не соглашался ни с Бюхером, ни с Мейером, при этом по факту был ближе к Бюхеру (что тоже объяснимо, так как и основатели марксизма были склонны воспринимать древнее общество как сравнительно примитивное [Маркс, 1960, с. 345–346; Энгельс, 1961, с. 146–153]). Но даже критика Тюменевым Мейера – это критика исследователя, находящегося в той же системе координат, что и остальные: «Уже одного этого сопоставления цифр достаточно, чтобы признать тщетными и несосто-

ятельными все попытки Мейера, склонного вообще модернизировать отношения, существовавшие в античном мире, доказать, что рядом с рабским и свободный труд ремесленника имел в древней Греции не меньшее распространение и признание. Именно те данные, на которые он ссылается в подтверждение своей точки зрения, не только не доказывают её справедливости, но, напротив, скорее свидетельствуют против неё...» [Тюменев, 1924, с. 109, прим. 4].

Можно предположить, что перед нами не склонный к эмоциональным высказываниям автор, но следует обратиться к новому очерку Тюменева, посвящённому уже истории античных обществ в целом и опубликованному в середине 1930-х гг. С первых же страниц читатель вводится в суть дела с помощью акцентирования политической подоплёки: кризис капиталистической системы породил пессимизм буржуазии, который привёл и к перемене взглядов на исторический процесс. Западные историки ищут в античности причины текущего кризиса, сознательно манипулируют фактами:

«В своём стремлении найти капитализм в древности, буржуазные историки-модернизаторы намеренно закрывают глаза на скрывающееся под поверхностным внешним сходством глубокое различие античной (рабовладельческой в своей основе) и современной (основывающейся на труде наёмных рабочих) экономики...» [Тюменев, 1935, с. 10].

Содержится и прямой посыл к действию, оправдывающий существование советской историографии древности необходимостью идеологической борьбы:

«Классовым теориям буржуазных историков необходимо противопоставить марксистско-ленинский анализ античной экономики, образующей совершенно иную формацию и иную ступень развития и уже по одному этому исключающей возможность каких-либо параллелей с современностью» [Тюменев, 1935, с. 10].

Оказывается, теперь параллели с современностью невозможны в принципе – то есть, по-рица «буржуазных историков», Тюменев заодно отказывается и от своих работ предыдущих лет, ведь раньше он нередко проводил параллели между эпохами, хотя и избегал сравнения древности с современностью. Но начиная с 1930-х гг. советская историография нуждается в том, чтобы отделить себя от «буржуазной» максимально зримым образом. У другого историка, пришедшего к марксизму в начале XX в., Н. М. Никольского (1877–1959), слушатели одного из его докладов, в котором он доказывал, что в древневосточных обществах преобладала эксплуатация крестьянства и, следовательно, феодальные отношения, допытывались, чем же его позиция отличается от взглядов Мейера, видевшего феодализм на Востоке (НА ИИМК РАН. Ф. 2. Оп. 1933. Л. 48). И было практически бесполезно доказывать, что Мейер понимает феодализм не так, как марксисты (как систему перераспределения ресурсов, но не как особый способ производства), – одно иерархическое совпадение терминологии уже воспринималось (даже коллегами) как опасность потери советской идентичности. В конечном счете, это сыграло роль в том, что в советской науке утверждается концепция В. В. Струве, в которой древневосточные общества трактуются как рабовладельческие [Крих, 2018]. Косвенно это означало и утверждение такого воззрения, согласно которому советский учёный не может участвовать в спорах, инициированных западной наукой, он должен лишь констатировать, что неверны любые немарксистские точки зрения (может различаться лишь степень заблуждения).

### Истории «перебежчиков»

Если ранее приводились примеры из работ «старых» марксистов, которые были уверены в своей лояльности победившей идеологии и даже могли упорствовать иногда в собственном видении марксистской исторической теории, то не менее примечательны образцы творчества тех историков, которые переходили в «лагерь марксизма» буквально в конце 1920-х гг.: перемена их манеры письма являлась разительной.

У некоторых из историков могла быть не самая удачная с точки зрения советской власти биография, как у Б. Л. Богаевского (1882–1942), выходца из дворян, окончившего историко-филологический факультет в Санкт-Петербургском университете. В годы гражданской войны Богаевский был эвакуирован колчаковцами из Перми в Томск. Богаевский занимал посты в Томском университете и при Советах, а позже вернулся в Ленинград, где, работая в учебных заведениях, занимался «общественной деятельностью», которая включала доносы на лекторов, недостаточно учитывавших новые веяния и читавших по-старому (АРАН. Ф. 411. Оп. 13. Д. 36. Л. 14 об., 27). При этом в личном деле самого Богаевского, хранившемся на одном из мест ра-

боты, указывалось, что его сводные брат и сестра бежали из страны после поражения Колчака; Богаевский всегда уточнял, что связи с ними не поддерживает (АРАН. Ф. 411. Оп. 13. Д. 36. Л. 24).

В конце 1920-х гг. его активная лояльность была вознаграждена: он получил возможность бывать за границей с командировками, был включён в состав советской делегации на VI Международном конгрессе историков в Осло в 1928 г. Едва ли слишком скрывая чувство гордости от сопричастности большой науке, Богаевский стал периодически упоминать о своих беседах с иностранными учёными. Вот как начинается одно из его исследований:

«Настоящая работа возникла из бесед с проф. Андерсоном в Стокгольме в Östaiatiska Samlingarna осенью 1928 г., где я работал во время моей командировки в Осло на Всемирный Конгресс историков. Считаю своим приятным долгом принести проф. Андерсону искреннюю благодарность за ценные указания, касающиеся проведённых проф. Андерсоном раскопок в Китае, а также за предоставление мне возможности изучить ценный материал, как выставленный в Музее, так и находящийся ещё в обработке. Выражаю также признательность проф. Андерсону за его любезные упоминания о наших встречах в Стокгольме, которые он делает в своих работах...» [*Богаевский*, 1931, с. 1].

Речь идёт о восточноазиатских коллекциях (ныне Музей дальневосточных древностей), выставку которых с 1926 г. организовал китаевед Ю. Г. Андерсон (1874–1960). Не менее символично то, что над этими первыми словами работы стоит эпитафия, взятый из «Восемнадцатого брюмера Луи Бонапарта», одного из наиболее часто цитируемых в советское время (и чуть ли не самого яркого) сочинения Маркса. В общем и безо всякой символики видно, что Богаевский считает возможным примирить принадлежность к марксизму с обычным научным общением и даже любезностью.

Вскоре зарубежные командировки стали восприниматься как отягчающее обстоятельство в реноме советских историков. Стал меняться и стиль работ Богаевского. Теперь он уже рассказывает о том, чего не понимают иностранные учёные. Если в 1928 г. Богаевский опубликовал статью, которую посвятил сочувственному обзору идей австрийского археолога О. Менгина (1888–1973) и которую начал с упоминания того, как вёл с ним «оживлённые споры, тянувшиеся иногда по несколько часов» [*Богаевский*, 1928, с. 187], то в книге 1937 г. он сухо упомянет Андерсона, а о Менгине скажет резко отрицательно: «В Австрии “трипольскими” вопросами с точки зрения антинаучной “теории культурных кругов” занимаются реакционный исследователь Менгин и его ученик Иенни...» [*Богаевский*, 1937, с. 8].

Отдал должное Богаевский и критике фашистского историописания – весьма популярно во второй половине 1930-х гг. поджанру публикаций в сфере общественных наук. Такие работы были всегда построены по сходной схеме: общие положения об опасности фашистской идеологии с уточнением, что она является лишь максимально законченным выражением общего кризиса буржуазной мысли в эпоху империализма; конкретные примеры несообразностей и ляпов в работах фашистских историков-пропагандистов, а также немецких историков, так или иначе сотрудничавших с нацистским режимом, с их развенчанием; противопоставление правильной оценки, подкреплённой более или менее удачными цитатами из «классиков марксизма». Советских трудов за рубежом почти не читали, и советскому читателю были недоступны фашистские книги или статьи, так что убеждать или переубеждать такая критика никого не могла, зато она позволяла продемонстрировать начальству ценность исторической науки в общем деле противостояния миру капитала и, конечно, её боевой настрой.

Стиль работы вполне достаточно проиллюстрировать одним отрывком: «Наконец, злостно используя богатейший археологический материал эгейской культуры, фашистские мракобесы пытаются доказать не только северное германское и даже “древне-прусское” происхождение древнейшего народного эпоса Греции – Илиады и Одиссеи, но также и всей греческой культуры, когда, как это вполне достоверно известно, никаких германцев ни в Европе, ни вне её ещё не существовало» [*Богаевский*, 1939, с. 36]. При этом Богаевский счёл нужным ударить не только по германским недругам, но и по отечественным: «Бухарин, презренный изменник и убийца, в своих лженаучных писаниях превращал Илиаду и Одиссею в героически-военный эпос и ставил их в один ряд с героическо-рыцарской драмой японских самураев» [Там же, с. 74]. Причина этого выпада заключалась в том, что до своего падения Бухарин был покровите-

лем Богаевского, а теперь последний торопился откреститься от новой неудачной строки в своей биографии.

Похожие задачи приходилось решать С. И. Ковалёву (1886–1960), правда, в его случае вопросы отторжения неподходящего прошлого уступали место задаче наилучшего выражения лояльности марксизму. Рано начавший решать эту задачу, Ковалёв был вынужден сталкиваться с необходимостью корректировать свои позиции по мере того, как менялся советский культурный и политический ландшафт. В середине 1920-х гг., когда ни в науке, ни в преподавании не было общепринятой схемы исторического процесса, он полагал возможным говорить о системе культурно-географических циклов как наилучшем способе изложения мировой истории – взгляд, близкий к пониманию Н. Я. Данилевского и отчасти О. Шпенглера [Ковалёв, 1923, с. 24]. В конце 1920-х гг. уже становится очевидно, что марксистским в СССР может считаться только такое видение истории, исходя из которого одна эпоха сменяет другую на обязательной шкале общего прогресса. И Ковалёв начинает активно участвовать в создании новой единой схемы исторического процесса, сначала объясняя, почему не было революции при переходе от рабовладения к феодализму [Ковалёв, 1932, с. 65], а потом, после сталинских слов о «революции рабов», почему такая революция несомненно была [Ковалёв, 1933, с. 345–354]. Он мастерски воплощает публицистическое начало в учебной литературе, умело сочетая подбор фактов (достаточно тенденциозный) с несложными обобщениями. Стремление Ковалёва подчеркнуть объективный ход исторического процесса и при этом подать материал максимально доступно делает его рассуждения предельно поверхностными, на уровне газетной публикации:

«Конечно, с точки зрения общечеловеческого культурного наследия гибель александрийской библиотеки непоправима. Но, с другой стороны, не надо забывать, что в огне революции, в ужасах языческих погромов рождалось новое общество – феодальное, формация более высокая, чем предшествовавшая рабовладельческая» [Ковалёв, 1936, с. 298].

#### **«Новые» авторы для «новой» науки**

В эпоху перемен появились авторы, которые не имели серьёзного бэкграунда дореволюционной науки или даже гимназического образования и получали «путёвку в жизнь» уже в советизированных университетах. Входя в советскую историографию в новой волне молодых работников, они сразу же старались написать правильный марксистский рассказ об истории. Иногда это получалось крайне поверхностно, как в небольшой книге В.И. Недельского (1903–1958) «Революция рабов и происхождение христианства». Нужно сказать, что в среде специалистов она получила статус типичной для тех лет с ее поверхностным анализом, конспективным перебиранием фактов, поспешными формулировками<sup>3</sup> и притом с претензией на верное постижение сути исторического процесса, в данном случае – на верное понимание сущности эволюции общества поздней античности.

В работе Недельского вполне показательным образом сочетается критика западной историографии с зависимостью от неё. Хотя примерно в этом же он упрекает К. Каутского, марксизм которого, как стало очевидным к 1930-м гг., совсем не отвечал советскому пониманию истории [Метель, 2016]. Недельский утверждает, что Каутский «брал и использовал только тот материал, который признавался для изучения раннего христианства христианскими богословами» [Недельский, 1936, с. 8]. В изысканиях самого Недельского прослеживается прежде всего зависимость от «Социально-экономической истории Римской империи» (1926) М.И. Ростовцева. Эмигрировавший в 1918 г. из России и в итоге оказавшийся в США, убеждённый антибольшевик Ростовцев создал совершенно неожиданно для мировой научной общественности яркую, полную фактов и смелых трактовок книгу. В ней он утверждал, что причиной гибели Рима было распространение городской культуры, только затронувшей широкие слои крестьянства, но не улучшившей их жизнь. Уходя на многолетнюю службу в войско, крестьяне Римской империи уносили с собой ненависть к образованным и обеспеченным городским слоям и в период политического кризиса III в. отомстили им, подвергнув города жесточайшему грабежу. Открытая фаза этой «крестьянской революции» началась с правления императора Максимиана (235–238). Ростовцев видел в этом аналогию с тем, что произошло на его родине, в России.

На уровне заявлений Недельский не только не разделяет взглядов Ростовцева, но и отказывает тому в способности адекватно понимать историю. Всё, что можно получить от книги Ростовцева, так это уникальный фактический материал, собранный автором, как сообщает

Недельский [Недельский, 1936, с. 12], а работу по правильной его трактовке советский автор берёт на себя. Однако это чистой воды фикция: фактический материал Недельский в своей небольшой книжке почти не использует, эксплуатируя как раз *идеи* Ростовцева, например, он без всякого колебания воспроизводит именно ростовцевский вывод об ослаблении «хозяйственной связи» провинций с Римом [Недельский, 1936, с. 15]. Отвергая выводы эмигрировавшего историка на словах, он пытается их перекодировать простейшим приёмом замены действующего лица: не крестьяне, а рабы были причиной кризиса Рима. Интересным в этом приёме может быть, пожалуй, лишь то, что автор, заимствуя оригинальную идею Ростовцева, подаёт это в таком ключе, как будто она давно носилась в воздухе: «Даже Ростовцев вынужден признать, что правление Максимиана было создано революцией. Ростовцев считает эпоху Максимиана крестьянской (!) революцией, так как роль рабов им не понятая» [Недельский, 1936, с. 50, прим. 1]<sup>4</sup>.

В сущности, это тоже публицистический приём повествования: не проводя собственных изысканий, автор с помощью громких заявлений пытается создать эмоцию неприятия одной точки зрения и заменить её собственной. «Правильная» позиция не имеет научного обоснования, а вся её оригинальность сводится к лёгкой маскировке вторичности. То, что такие манипуляции будут заметны любому читателю с минимальным критическим мышлением, судя по всему, мало смущало автора. Ведь если есть сталинское высказывание о «революции рабов», то дело настоящего большевика в науке – показать, что все исторические свидетельства подтверждают его. Видимо, быстрота реакции на такого рода «руководящие указания» сама по себе воспринималась как достоинство, перевешивающее очевидные недостатки в виде скудной и противоречивой аргументации.

Тем не менее будет неправильным считать работу Недельского наиболее адекватным отображением происходящих изменений, хотя она весьма показательна для характеристики эпохи. Недельский был (и останется до конца своих дней), в сущности, малоизвестным автором, не повлиявшим на развитие советской науки, чего нельзя сказать о другом представителе нового поколения – А. В. Мишулине (1900–1948). Его уже нельзя обвинить в поспешном подходе к своей теме – ещё во второй половине 1920-х гг., будучи аспирантом, Мишулин интересовался рабскими восстаниями и в первую очередь восстанием Спартака. Тем более странным может показаться то, что Мишулин даже во второй половине 1930-х гг. выпускает достаточно неуверенные книги по избранной им теме. Фактически одна из них – это хрестоматия античных источников о Спартаке, дополненная разного рода обзорами научной литературы и общей исторической ситуации в Риме времени восстания, и только во второй, являющейся в общем обработкой первой, появляются черты целостного рассказа [Мишулин, 1936а; 1936б].

Непосредственная причина этого заключается в том, что Мишулину, как ни странно это может показаться, было почти нечего написать о своём герое – именно с научной точки зрения. Его основные идеи могут быть переданы в нескольких пунктах: неудачи восставших определялись неоднородностью их социального состава (рабы были готовы воевать до конца, крестьяне и прочие «попутчики» – нет), восстание длилось дольше, чем считалось до того (опираясь на неточные данные более позднего источника, Мишулин добавил восстанию почти год), Спартак был гениальным выходцем из низов, одним из следствий восстания стало ускорение эволюции римского государства в сторону военной диктатуры. Первые три пункта – самая настоящая историческая публицистика 1930-х гг., в них вполне откровенно читается указание на реакционную сущность крестьянства (что было актуальным тогда тезисом), подчёркивается мощь движений угнетённых и присутствует идеализация вождя. А если учитывать, что пункт о переходе к империи в качестве реакции на опасность рабских волнений был скорее общим местом в работах советских авторов, то для обоснования всего остального вполне хватало рамок одной или двух статей<sup>5</sup>; для книги элементарно не набиралось объёма.

Мишулин разрешил эту проблему более интересно, чем в подобном же случае Недельский: он не только постарался добавить к рассказу о Спартаке уже подготовленные им ранее обзоры научной и даже художественной литературы, но сделал это более качественно, всюду проводя единой нитью свою точку зрения, а также дал подробный анализ источников. В совокупности это привело исследование Мишулина к сближению с классическим фактологическим нарративом: позитивистское историческое исследование предполагало и анализ источников, и рассмотрение контекста. Это означало также, что, обретая более надёжную подпорку в виде

фактологии, публицистический нарратив постепенно охладевал к использованию ругательных штампов. Послевоенный ренессанс этого стиля был недолгим.

### О пользе неудач

Если кратко охарактеризовать историко-публицистический нарратив 1930-х гг., то сразу бросается в глаза такая его черта, как поругание, основывающееся на использовании сниженной лексики по отношению к оппонентам и их взглядам. Этот приём, как говорилось ранее, пришёл из политической полемики тех лет и употреблялся с целью символически уничтожить противника. Другая особенность проявляется себя в работе с собственно историческим материалом: использование промежуточных умозаключений из чужих работ (промежуточных для советского автора, поскольку итоговые были заданы не изучением источников, а теорией), минимизация фактического материала, стремление быстро дать правильные итоговые выводы, при этом не столько подвести к ним читателя путём верифицируемого рассуждения, сколько манифестировать их, попутно проиллюстрировав заранее отобранными более или менее подходящими фактами. Наконец, ещё одна характеристика – «реактивность», по возможности оперативный учёт наиболее значимых и недавних высказываний партийных лидеров, прежде всего «вождя», готовность и способность быстро выстраивать вокруг таких высказываний собственное повествование; обратная сторона этой же характеристики – готовность столь же оперативно и яростно противостоять тем трудам и идеям, которые воспринимались ранее или только недавно стали восприниматься в качестве угрозы партийной линии.

Можно говорить о двух связанных импульсах, оказавших наибольшее влияние на появление и быстрый расцвет историко-публицистического типа нарратива в советской науке. Первый – внешний (он достаточно очевиден из рассмотренного выше материала), выражался в том, что историки советского периода по разным, но в целом сходным причинам старались продемонстрировать свою приверженность господствующей идеологии, а потому изливали лояльность в максимально открытых и грубых формах: в цитировании «правильных» авторов и демонстративном поругании «неправильных».

Но первый импульс не смог бы стать эффективным, если бы не был поддержан внутренним желанием историков следовать за ним как за спасительным светом. Поругание других представлялось фрустрированному спешными поисками верной теории и «чистками» сознанию историков тех лет надёжным средством защиты – ведь «просто лояльность» практически никому не казалась достаточной гарантией. Это, кстати, означало и то, что, возникнув «по указке», такой жанр не мог по ней бесследно исчезнуть.

Препятствовал этому второй импульс, который был вызван внутренней логикой развития жанра, и о нём нужно сказать подробнее. Сама по себе критика буржуазных авторов или собственных заблуждений (как других советских историков, так и буквально своих прежних работ) велась с позиций некоей общеразделяемой очевидности – читатель мог заметить, что советские авторы не столько доказывают свою точку зрения, сколько постулируют её как явно верную; той же цели служат и цитаты из Маркса и прочих источников «единственно научной» теории. Соответственно, в такой работе нет вовсе или очень немного собственно исследовательского содержания, так как исследование подразумевает отношение к критикуемым позициям как к серьёзным теориям, которые имеет смысл опровергать, опираясь на солидную базу источников. Взамен этого приходит эмоция: раз оппонент в упор не видит очевидной истины, значит, с его стороны речь идёт о сознательной или классовой слепоте, и поэтому он заслуживает самых уничижительных характеристик.

Но изобретательность авторов в деле предложения эпитетов или отыскания наиболее показательных цитат оказалась ограниченной, так что штампованные положительные и отрицательные определения быстро заполнили страницы таких работ. И это также логично: оригинальность может завести автора слишком далеко и навлечь критику в каком-либо уклоне, поэтому лучшая демонстрация лояльности стремится быть стандартизированной.

Таким образом, историко-публицистический жанр оказался в тупике, из которого он не успел выбраться до начала Великой Отечественной войны: оригинальность исследования ограничивалась необходимостью проявить лояльность и требовала эмоциональной компенсации, а лояльность ограничивала возможность проявления эмоций. Поскольку прямого выхода из этого тупика не существовало, советской науке в дальнейшем даже при использовании этого жанра

придётся понизить градус эмоциональности и увеличить роль фактологии, которая в 1930-е гг. имела значение далеко не для всех авторов.

Можно наблюдать интересный и в некотором роде уникальный эксперимент в истории науки: попытка построить убедительное и доступное идеологически ориентированное историческое повествование исчерпала сама себя. Это не выглядело как эффектное обрушение жанра, который дошёл до пределов своего развития – но так и не бывает в истории науки. Это произошло скорее как постепенное отступление на более умеренные позиции.

Кажется, из вышесказанного можно сделать ещё один вывод, который основан на проведённом разыскании, но не сводится к нему. В науке, как и в искусстве, эмоциональное высказывание имеет шансы быть оригинальным только в том случае, если оно оказывается персонализированным. Стандартизированная эмоциональность неизбежно утрачивает возможность быть интересной для читателя и одновременно разрушающе действует на автора – если не на его личность, то безусловно на его стиль.

### Примечания

<sup>1</sup> Исследование поддержано РФФИ, в рамках исследовательского проекта № 19–09–00125, «Унификация нарратива в советской историографии всеобщей истории: трансформация взглядов и научное творчество».

<sup>2</sup> См., например, рассуждения о том, что только диктатура пролетариата становится «демократизмом для бедных»: [Ленин, 1969, с. 88–89].

<sup>3</sup> Или совсем просторечными: «Но Каутский не может не чувствовать, что дело обстоит не вполне важно...». [Недельский, 1936, с. 7].

<sup>4</sup> Отметим использование Недельским эмоциональных знаков препинания в скобках.

<sup>5</sup> Все идеи Мишулина вполне адекватно высказаны в статьях [Мишулин, 1935, 1937].

### Список источников

Архив Российской академии наук (РАН). Ф. 411. Оп. 13. Д. 36.

Научный архив Института истории материальной культуры РАН (ИА ИИМК РАН). Ф. 2. Оп. 1933. Д. 28.

### Библиографический список

*Богаевский Б.Л.* Доистория и этнология в работах проф. Освальда Менгина // Человек. 1928. № 2–4. С. 187–216.

*Богаевский Б.Л.* Орудия производства и домашние животные Триполья. Л.: ОГИЗ; Гос. соц.-экон. изд-во, 1937. 308 с.

*Богаевский Б.Л.* Раковины в расписной керамике Китая, Крита и Триполья. Л.: Б.и., 1931. 101 с.

*Богаевский Б.Л.* Эгейская культура и фашистские фальсификаторы истории // Против фашистской фальсификации истории. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1939. С. 35–82.

Расписание перемен. Очерки истории образовательной и научной политики в Российской империи – СССР (конец 1880-х – 1930-е годы). / ред. А.Н. Дмитриев. М.: Нов. лит. обозрение, 2012. 896 с.

*Ковалёв С.И.* Классовая борьба и падение античного общества // Из истории докапиталистических формаций: Сб. статей к 45-летию науч. деятельности Н. Я. Марра. М.; Л.: ОГИЗ, 1933. С. 345–354.

*Ковалёв С.И.* Курс всеобщей истории. Пг.: Прибой, 1923. Т. 1. 306 с.

*Ковалёв С.И.* История античного общества. Эллинизм. Рим. Л.: Гос. соц.-экон. изд-во, 1936. 318 с.

*Ковалёв С.И.* Учение Маркса и Энгельса об античном способе производства // Изв. ГАИМК. Т. 12, вып. 9–10). Л.: Б. и., 1932. 73 с.

*Крих С. Б.* История поражения: Н. М. Никольский в борьбе за понимание общественного строя древневосточных обществ // Восток. 2018. № 1. С. 13–22.

*Ленин В.И.* Государство и революция. Учение марксизма о государстве и задачи пролетариата в революции // Ленин В.И. Полн. собр. соч. М.: Политиздат, 1969. Т. 33. С. 1–120.

*Маркс К.* Капитал. Критика политической экономии. Т. 1. Книга первая: Процесс производства капитала // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. М.: Гос. изд-во полит. лит., 1960. Т. 23. 908 с.

Метель О.В. «Поиски классики» в советской историографии первоначального христианства 1920–1930-х гг.: Ф. Энгельс против К. Каутского // Вестник Университета Дмитрия Пожарского. 2016. № 2 (4). С. 107–130.

Мишулин А.В. К истории восстания Спартака в Древнем Риме // Вестник древней истории. 1937. № 1. С. 133–142.

Мишулин А.В. Последний поход Спартака и его гибель // Проблемы истории докапиталистических обществ. 1935. № 7–8. С. 116–133.

Мишулин А.В. Революция рабов и падение Римской республики. М.: Правда, 1936. 108 с.

Мишулин А.В. Спартакосское восстание: Революция рабов в Риме в I в. до н. э. М.: Соцэкгиз, 1936. 290 с.

Недельский В.И. Революция рабов и происхождение христианства. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1936. 74 с.

Тюменев А.И. История античных рабовладельческих обществ. М.; Л.: ОГИЗ, Гос. соц.-экон. изд-во, 1935. 288 с.

Тюменев А.И. Очерки экономической и социальной истории древней Греции. Т.1: Революция. Пг.: Прибой, 1924. 170 с.

Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. М.: Гос. изд-во полит. лит., 1961. Т. 21. С. 23–178.

*Дата поступления рукописи в редакцию 14.04.2020*

## **ANCIENT HISTORY AND NEW PUBLICISM: ABOUT SEARCHING FOR A NARRATIVE IN THE SOVIET HISTORIOGRAPHY OF THE STALIN TIME**

**S. B. Krikh**

Dostoevsky Omsk State University, 55-a, Mira av., 644077, Omsk, Russia

krikh@rambler.ru

ResearcherID: M-5123-2016

Scopus Author: 57194386149

The article discusses the features of the genesis and functioning of a special type of historical narrative in Soviet scholarship, which gained particular strength in the 1930s and gradually exhausted by the late 1940s. For convenience of characterization, the author focuses on Soviet works about ancient history and analyzes the main attitudes of their authors (“old” Marxists, scholars who converted to Marxism, and the Soviet generation of historians), and the reasons and features of their appeal to the genre of historical and journalistic narratives about the past eras. This type of narrative is therefore associated with the formation and flowering of the Stalinist regime. The changes of the 1930s are all the more remarkable as we can compare the style of historians who wrote before and after this time. Using the examples of A. Tyumenev or B. Bogaevsky, the reader can see how respectful and loyal attitude to foreign scholarship was replaced by loud criticism of the limitations of “bourgeois” historians, in whose works Soviet historians certainly found features of “reactionary”. On the example of the books by N.I. Nedelsky and A.V. Mishulin, the author shows how historians who did not engage in scholarship before the revolution took the same path. In conclusion, the author gives the general characteristics of the genre, as well as an explanation of why it was doomed to gradual self-exhaustion, not only because it depended on external (political) but also because it was influenced by internal reasons.

*Key words:* Soviet historiography, historical narrative, ancient history, publicism in historiography, Stalinism.

### **References**

Bogaevskiy, B.L. (1931), *Rakoviny v raspisnoy keramike Kitaya, Krita i Tripolya* [Shells in painted ceramics of China, Crete and Trypillia], n.p., Leningrad, Russia, 101 p.

Bogaevskiy, B.L. (1937), *Orudiya proizvodstva i domashnie zhivotnye Tripolya* [Craft tools and domestic animals of Trypillia culture], OGIZ Gosudarstvennoe sotsial'no-ekonomicheskoe izdatel'stvo, Leningrad, Russia, 308 p.

Bogaevskiy, B.L. (1928), “Prehistory and ethnology in the works of Osvald Mengin”, *Chelovek*, № 2–4, pp. 187–216.

Bogaevskiy, B.L. (1939), “Aegean culture and fascist falsifiers of history”, in *Protiv fashistskoy falsifikatsii istorii* [Against fascist history falsification], Izdatel'stvo AN SSSR, Moscow, Leningrad, Russia, pp. 35–82.

- Dmitriev, A.N. (ed.) (2012), *Raspisanie peremen. Ocherki istorii obrazovatel'noy i nauchnoy politiki v Rossiyskoy imperii – SSSR (konets 1880-kh – 1930-e gody)* [Schedule of changes. Essays on the history of educational and scientific policy in the Russian Empire – USSR (late 1880s –1930s), Novoe literaturnoe obozrenie, Moscow, Russia, 896 p.
- Engels, F. (1961), “The Origin of the family, private property and the state”, in Marks, K. & F. Engels, *Sochineniya. 2-e izd.* [Collected works. 2<sup>nd</sup> ed.], Gosudarstvennoe izdatel'stvo politicheskoy literatury, Moscow, Russia, vol. 21, pp. 23–178.
- Kovalev, S.I. (1923), *Kurs vseobshchey istorii* [General history course], Priboy, Petrograd, Russia, vol. 1, 306 p.
- Kovalev, S.I. (1932), “The doctrine of Marx and Engels about ancient mode of production”, *Izvestiya GAIMK*, vol. 12, № 9–10, 73 p.
- Kovalev, S.I. (1933), “Class struggle and the fall of ancient society”, in *Iz istorii dokapitalisticheskikh formatsiy. Sbornik statey k sorokapyatiletuyu nauchnoy deiatel'nosti N. Ia. Marra* [From the history of pre-capitalist formations. Collection of articles on the forty-fifth anniversary of scholar activity of N. Y. Marr], OGIZ, Moscow – Leningrad, Russia, pp. 345–354.
- Kovalev, S.I. (1936), *Istoriya antichnogo obshchestva. Ellinizm. Rim* [History of the ancient society. Hellenism. Rome], Gosudarstvennoe sotsial'no-ekonomicheskoe izdatel'stvo, Leningrad, Russia, 318 p.
- Krikh, S.B. (2018), “Academician Nikolay M. Nikol'skiy and the struggle for understanding of social system of the ancient Near Eastern societies”, *Vostok*, № 1, pp. 13–22.
- Lenin, V.I. (1969), “The state and revolution”, in *Polnoe sobranie sochineniy. 5-e izd.* [Complete works. 5<sup>th</sup> ed.], Politizdat, Moscow, Russia, vol. 33, pp. 1–120.
- Marx, K. (1960), “Capital. criticism of political economy. The first book. The process of capital production”, Marks K. & F. Engels, *Sochineniya* [Collected works], Gosudarstvennoe izdatel'stvo politicheskoy literatury, Moscow, Russia, vol. 23, 908 p.
- Metel', O.V. (2016), “The search for the classics” in the Soviet historiography of early Christianity of the 1920–1930s: F. Engels vs. K. Kautsky”, *Vestnik Universiteta Dmitriya Pozharskogo*, № 2 (4), pp. 107–130.
- Mishulin, A.V. (1935), “The last campaign of Spartak and his death”, *Problemy istorii dokapitalisticheskikh obshchestv*, №7–8, pp. 116–133.
- Mishulin, A.V. (1936a), *Revolutsii rabov i padenie Rimskoy respubliki* [Slave revolutions and the fall of the Roman Republic], Pravda, Moscow, Russia, 108 p.
- Mishulin, A.V. (1936b) *Spartakovskoe vosstanie: Revolyutsiya rabov v Rime v I v. do n. e.* [Spartacus rebellion: the slave revolution in Rome in the 1<sup>st</sup> century B.C.], Sotsekgiz, Moscow, Russia, 290 p.
- Mishulin, A.V. (1937), “To the history of Spartacus rebellion in the Ancient Rome”, *Vestnik drevney istorii*, №1, pp. 133–142.
- Nedel'skiy, V.I. (1936), *Revolutsiya rabov i proiskhozhdenie khristianstva* [The slave revolution and the origin of christianity], Izdatel'stvo Akademii nauk SSSR, Moscow – Leningrad, Russia, 74 p.
- Tyumenev, A.I. (1924), *Ocherki ekonomicheskoy i sotsial'noy istorii drevney Gretsii T. 1. Revolyutsiya* [Essays on the economic and social history of ancient Greece. Vol. 1. Revolution], Priboy, Petrograd, Russia, 170 p.
- Tyumenev, A.I. (1935), *Istoriya antichnykh rabovladel'cheskikh obshchestv* [The history of the ancient slave societies], OGIZ Gosudarstvennoe sotsial'no-ekonomicheskoe izdatel'stvo, Moscow–Leningrad, Russia, 288 p.